

Николай Лесков

Засуха



Николай Семёнович Лесков

Засуха

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175246

Аннотация

«Лет пятнадцать назад в одном селе умер от опоя приходский пономарь; и был похоронен на своем приходском кладбище. Как на грех, вскоре же после похорон этого опивицы настала засуха; зелени стали желкнуть, крестьяне повесили головы, подняли образа, отслужили на поле мирской молебен на коленях с рыданиями, а засуха все продолжалась. Крестьяне совсем растерялись, – хорошо знакомые ужасы предстоящего голода приводили их в совершенное уныние. Вдруг в село заходит какой-то грамотей, не то солдат, не то коробейник...»

Содержание

I	4
II	12
III	15
IV	20
V	29

Николай Лесков

Засуха

I

Лет пятнадцать назад в одном селе умер от опоя приходский пономарь; и был похоронен на своем приходском кладбище. Как на грех, вскоре же после похорон этого опивицы настала засуха; зелени стали желкнуть, крестьяне повесили головы, подняли образа, отслужили на поле мирской молебн на коленях с рыданиями, а засуха все продолжалась. Крестьяне совсем растерялись, — хорошо знакомые ужасы предстоящего голода приводили их в совершенное уныние. Вдруг в село заходит какой-то грамотей, не то солдат, не то коробейник. Беседуя о том, о сем, крестьяне рассказали ему о своем горе-злосчастьи, о засухе, а как-то к слову сболтнули и о пономаре, умершем от опоя. Грамотей был плут: он скомбинировал в своей голове целый план, как принаудуть находящихся в отчаянии крестьян, и вызвался дать им средство против засухи. Запросил он за свою помощь недорого. Бедняки собрались, потолковали, скинулись и отдали грамотею то, что он требовал.

— Вот что я вам скажу, православные! Только, чур, чтоб слушать меня, и опять, чтоб меня не выдавать, — сказал гра-

мотей.

– Нет, чего выдавать! Таковские ли мы: говори, кормилец, смело говори, – завопили крестьяне.

– Ну, слушайте! Вся эта ваша полевая беда больше ни от чего, как от пономаря.

– От мертвого-то?

– От мертвого.

Крестьяне начали креститься, шептать: «Господи Иисус Христос» – и, оглядываясь назад за плечи, теснее сжималась в кучку.

– Так что же, ты нам теперь, родимый, помогай!

– Помогать-то хорошо, коли сами себе станете помогать.

– Что ж нам теперь делать-то, скажи, болезный.

– А что делать? – продолжал незадумчивый грамотник. –

Больше ничего, как выбросить надо этого пономаря с кладбища.

– Да как ты его выбросишь?

– Известно как: взял, да и выбросил.

– Поп не согласится.

– Согласится, небось.

Грамотей рассказал множество на живую руку сложенных басен и побасенок, что как у нас такие случаи были там-то и там-то; что о таких-то он от верных людей слышал, а такие-то и сам знал и помогал в них так, что и поднесь ему за то благодарны.

У страха, говорят, большие очи и легкая вера. Крестьяне

поверили, что всему делу вина мертвый пономарь, что их родителям с ним тяжело лежать на одном кладбище и оттого они упросили Бога и мирского молебна не слушать.

На другое же утро после пущенной этим проходимцем в народ утки сельские старики раненько явились к священнику. Они перекрестились на образ, взяли благословение и просили отца выйти в садок побалакать промеж себя, чтобы во время этого балаканья не было никого лишнего, кому про то слушать не следует. Священник вышел, крестьяне ему в ноги.

– Что такое, – говорит, – светлы? что нарушилось?

– Батюшка! отец Лидор, спаси ты и себя и нас горьких, – отвечают крестьяне. Священник ничего не понимает.

– Да встаньте, – говорит он стоящим на коленях мужикам, – скажите толком, что там у вас стряслось? Мертвое тело, что ли?

– Так и есть, отец, мертвое тело всему причинно.

– Где? Как? Что?

Мужички, не вставая с колен, рассказали, что вот так и так, заходил бывалый человек и вот то и то говорил, отчего дождя нет.

Священник обрадовался, что никакой иной беды на миру не случилось, плюнул и назвал мужиков баранами, а бараны все знай стоят на коленях.

– Вставайте же, шуты вы этакие!

Крестьяне, вместо того чтобы встать, толкнули друг дружку

ку потихоньку локтями и, как по команде, опять все повалились в ноги священнику.

– Батюшка! Ты сделай свою милость, ублаготвори!

– Да чем я вас, глупых, ублаготворю? Молебен петь на загонах, пойдете, опять вам отпою, и ничего мне за то не нужно; а больше что же я могу сделать?

– Нет, что молебен! Молебен, оно разумеется, на этом благодарим; а ты нам изништожь пономаря.

– Что вы, светы, ума, что ли, ряхнулись?

– Нет, батюшка, изништожь.

– Как же я его изништожу?

– А уж как знаешь, ну изништожь!..

Священник урезонивать, – куда! И слушать не хотят: изништожь, да и только. «Мы последние животы сбудем и тебя отблагодарим, только выкопай ты его с кладбища, а то вот и не поднимемся, так и помрем у тебя в саду».

Священник видит, что дело пошло далеко, не говоря ни слова, оставил коленопреклоненных крестьян, а сам вошел в дом, взял шляпу и, подойдя к решившимся умирать в саду мужикам, сказал: «Пойдемте».

Крестьяне встали, отряхнули пыль с зипунов, надели шапки и вышли с священником на улицу.

– Ну те-ка, где ваш прохожий? Покажите мне его, я с ним поговорю, – сказал священник.

– Нет, батюшка, где тебе с ним говорить: он до зари поднялся и ушел, – отвечали крестьяне, глядя друг на друга.

– Куда же он пошел?

– А Бог его знает, не знаем. Так, известно, заковылял, да и нету.

– А кто он такой?

– Да кто его, батюшка, знает, – не знаем.

– Да, а как вы думаете?

– А как, бачка, думать, – Господь его знает! Может, из приказных, али из духовных какой, либо бродяжка, неш мы, отец, про то сведущи?

Священник видит, что старики подобрались в себя и правды у них уже не выкусишь.

– Ну, вы, – говорит, – светы мои, все это врете.

– Где, батюшка! Как это можно? Да нешто мы на это согласны?

– Ну, да ладно: соберите-ка, – говорит, – сходку.

Собрали после ранних обедов и сходку. Вышел на эту сходку и священник. Крестьяне сняли шапки, тишина стала мертвая, а мужики все моргают, на небо посматривают: не видать ли тучки, да губами чмокают, словно у них лишний зуб во рту: вытащить бы его, и сейчас все бы отлично стало.

– Вас, ребята, злые люди смущают, – начал священник.

Крестьяне молчат, опять только чмокают, побрякивают да подувают себе в бороды.

– Правда, смущают? – повторил священник.

Опять молчание.

– Да говорите же!

Из толпы послышалось: «Нас, отец Лидор, никто не смущает, а мы как сами по своему рассудку...»

– Ну, а коли вы сами по своему рассудку, расскажите же толком, в чем дело-то?

– Да изништожь ты нам пономаря с кладбища, вот тебе самое твое первое дело. Он опивица, с ним родителям неспокойно, за то они молят Бога нам дождя не давать, и Бог твоего молебна не слушает за то, что опивицу с родителями с нашими схоронил.

Священник пустился разъяснять крестьянам, что хотя покойный пономарь и действительно был пьяница, но что он умер смертью не наглою и не насильственной, что он не самоубийца, и тело его следовало схоронить на общем кладбище, а выкапывать из могил погребенные тела без разрешения начальства нельзя, что за это всем может быть большой ответ. Крестьяне призадумались. В задних рядах сходки что-то вполголоса загомонили. Мало-помалу все стали оборачиваться на этот гомон; через несколько минут вся сходка обернулась к священнику спиной и пядь за пядью отодвигалась от него к середине выгона. Священник сел на порожке у запасного магазина, у которого собиралась сходка, и терпеливо стал ожидать: чем все это кончится? Сходка, погломивши и помажавши руками, тем же порядком, то есть пядь за пядью, снова подошла к священнику. Весь этот маневр был произведен ею так, что как будто сходка и не отходила, а так, мялась да топотала на месте. В самом деле, вся экскурсия

от магазина на выгон и обратно производилась без всякого уговора, так, по общей сметке, но священник очень хорошо понял, что мир не зря отходил на совещание и что его уж теперь прямым путем не свернешь с того, что он порешил себе.

По мере приближения сходки к магазину, у которого сидел в своей широкополой шляпе священник, гомон все по-маленьку стихал; а к священнику толпа приблизилась уже в совершенном молчании.

– Ну, что же вы, ребята, порешили? – спросил священник.

Опять начались побрякивания, почесывание бород и тихие возгласы: «Господи ты, Иус Христос!»

– Ну, что ж, молчать, что ли, мы собрались? Ась! Ребята, да говорите, что ли!

– Что говорить-то, батюшка?

– Да что хотите.

– Ублаготвори.

– Как вас ублаготворить-то?

– Изништожь пономаря с кладбища.

– Да что вы в самом деле, оглашенные! Говорю вам, вот что за это будет.

Священник снова привел все резоны, мужики снова все выслушали, и снова началось молчание.

– Ну, как же? – спросил священник.

– Да так же, батюшка, одно слово: ублаготвори, мы тебе всякое удовольствие предоставим; а не хочешь, так и толковать больше нечего.

Так и разошлись.

«Успокоятся», – думал священник, а крестьяне думали другое.

II

На другое утро священник встал позже обыкновенного, взглянул в окно; на дворе дождь теплый, частый, благодатный льет как из ведра, и по лужам ходят большие пузыри, предвестники, что дождь разошелся и еще долго не устанет.

И в самом деле, проливной дождь не переставал идти двое суток. Насилу на третье утро, к рассвету, немножко развдрило. В это же утро, на самой зорьке, полусонная батрачка разбудила матушку попадью и, поманив ее за дверь, сказала, что к ним чуть не всем миром нагрянули мужики с церковным сторожем и стоят все на выгонце перед садом и требуют к себе батюшку.

На дворе было еще очень рано; на востоке алела яркая полоса зари, и от мокрой травы поднимался довольно густой пар; все предсказывало влдро.

Выйдя на крыльцо, священник увидел церковного сторожа и двух крестьян, особенно настаивавших на «изничтожении» пономаря, – на всех их, что говорится, лица не было. Эта депутация не дала священнику сделать ни одного вопроса, и все в один голос заговорили: «Беда, выручай нас, батюшка, отец Лидор, выручай!»

Отец Илиодор так и подпрыгнул: что, говорит, светы, такое?

– Ой, и не спрашивай! Беда неминуемая.

– Да что, что такое? – добивался священник.

– Мы ведь тебя не послушались.

– Ну?

– Ну, а могила-то и того...

– Какая могила? Что вы городите?

– Да пономарева-то могила... и того!

– Ну!

– И рассыпалась.

– Да ну!

– Обвалилась; дождем ее, знаешь, полило, она и провалилась.

Священника как варом обдало.

– Да вы это... твари первозданные, вы это что же такое наделали? – спросил он, собравшись с силой.

– Поди ж вот, бачка, Бог попутал.

– Да что вы сделали-то, варвары? Говорите толком, что сделали?

– Что? Знамо, вырыли.

– Пономаря!

– Ну, пономаря же, известно. Как его, бачка, теперь назад вложить, потому мы уж на это согласны?

– А?!

Священник так и присел.

– Дождь ишь заливает совсем.

– Пропашие вы теперь люди, братцы.

– То и есть – пропашие. Вызволи, бачка, пожалей сирот

малых.

– Да как я вас вызволю?

– Покрой наш грех. Мы его теперь и всей душой бы назад согласны, да где взять его?

– Где же мертвец-то?

– Он, бачка, у нас весь в сохранности был в болоте за Бугорным мостом, да ишь каку полило, – сплыл, бают, – невесть куда сперло, и не найти.

Священник долго думал, мужики молчали.

– А как вы в этом случае о себе понимаете: долго ли вы можете насчет этой подлости вашей молчать?

– Батюшка, да до самого до веку!

– А село же все разве может молчать? – спросил отец Илиодор, смотря на стариков испытующим взглядом.

– Вот те Христос, смолчит.

– Не верю.

– Нет, а ты, отец Лиодор, поверь.

Из толпы выскочил серый мужичонка в рваном кафтанишке и, судорожно дергая себя обеими руками за ворот дырявой рубашонки, зачастил: «Бачка, за шкуру-то, за шкуру-то свою! За шкуру свою, батюшка, мир все смолчит!»

Священник посмотрел на говорящего. Он был в самом деле словно олицетворение обдерганного крестьянского мира, которому не за что постоять, кроме своей шкуры, и которому потому можно крепко верить, что он о своей шкуре не позабудет.

III

Часа через два после этого события пара косматых, разношерстных и толстобрюхих лошадей некованными копытами шлепали по грязному проселку, ведущему в губернский город. На небольшой легкой тележке, все размеры которой устроены так, чтобы человеку было как можно хуже сидеть в ней, сидел отец Илиодор, а впереди его на корточках трясся один из виновных, седой старик с простодушным лицом.

Переваливаясь из колеи в колею, корзина, называемая «поповской тележкой», к вечеру другого дня добралась до города и въехала на двор, где жили поповичи, обучавшиеся в семинарии. Батюшка умылся, расчесался и вечерком отправился к секретарю консистории. Чем он ближе подходил к дому этого властного для сельского попа чиновника, тем более и более им овладевала некая робость, а взойдя на крыльцо, он почувствовал, что силы его совсем оставили и что даже не только ему за кого-нибудь предстательствовать, но что он и сам-то как нельзя более, нуждается в предстателе.

Однако, постояв и потянув на себя свежего воздуха, отец Илиодор попробовал за пазухой подрясника носовой платок, в котором лежала благодарность, и позвякал дверною клямкою. Через несколько минут послышался оклик и на пороге появился подначальный причетник, давно исправляющий должность секретарского швейцара. Священник поклонился

этому причетнику как старому знакомому и даже как лицу не без известного значения и в то же время, произнося слова «здравствуй, Парфеныч», необыкновенно ловко успел вручить ему полтину серебром. Монета тотчас же словно прильнула к ладони секретарского докладчика, и он ласково ответил: «Здравствуйте, отец Лидор, все ли в своем здоровьи?»

– Ничего. Вы как?

Дьячок и рукой махнул.

– Э, что нам дается, вашими святыми молитвами, как ше-стами, попираемся.

– А что, можно видеть? – заговорил отец Илиодор.

– Можно-то можно, да не знаю, лих будто ныне.

– Лих?

– Просто в подобии змея желтобрюхого.

– Что так?

– А враг его знает: в окно глядел да увидал, что не тем боком корова почесалась. Помилуйте, ведь обидно: он всего тридцатую тысячу докладает, да и к той до сотни недостает.

Дьячок расхохотался.

– Ну, Бог даст, доложит.

– Да то и дело, что докладать-то трудно стало. Видите, наш новый-то, слышали... Фараон, сам до всего доходит. Опять же регента своего с собою привез, а сей больше ничего, как все ему на уши, и мы со своим теперь в жестоце подвалиша-ся.

– Да ну!

– Вмале и не увидите, и паки вмале и паки не увидите.

– Да ну же ты!

– Ей так – все кончено! Теперь вы к Афанасью Ивановичу, верно, за каким ни есть делом?

– Есть.

– Оставьте.

– Отчего так?

– Внимания не стоит. Хотите, так лучше к регенту...

– Боязно, – промолвил, покусав бороду, отец Илиодор.

– Совершенно ничего... Две головы и фунт чаю они за- всегда принимают.

– Да и по должности-то все же Афанасий Иванович секретарь – им это законней.

– Подите вы! Что такое секретарь, когда сам-то его всего дня с три только как потчевал.

– Кого?

– Да хоть бы и Афанасья Ивановича-то вашего.

– Как потчевал?

– А уж у него одно про всех угощение: много не говорит, а за аксиосы да об стол мордою. – Дьячок снова расхохотался.

– Так и ходить, говоришь, к Афанасию Ивановичу нечего?

– Сами возраст имате, по мне хоть и идите.

Отец Илиодор поправил шапку, потом бороду, вынул дьячку еще двухгривенный и отправился вспять. Первый блин, да комом. Шагая по грязи губернской мостовой, он соображал, что к регенту ему с своим делом не идти; но куда же

ему теперь с этим делом кинуться и как за него взяться? Идти прямо к архиерею, но у отца Илиодора не доставало храбрости, особенно же архиерей, говорят, строгий и суровый, а о губернаторе бедный поп в то время и подумать не смел, потому что губернатор в то время был всякому человеку все равно что Олоферн: кричит, орет, брыкает, хвостом машет и из живых лиц творит со слюною своею брание. Губернаторы в те поры были не нынешние. Отец Илиодор думал, думал и повернул в улицу, где стоял дом помещика, которому принадлежало село.

Влез отец Илиодор в темную пасть отпертых ворот господского дома и пропал.

Домой он вернулся поздненько, погладил белокурую голову спящего сына, грамматика, и поговорил со старшим, ритором, об отце ректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых вопросах, спросил виновного мужика, поил ли он коней, и затем лег на белый деревянный диванчик с решетчатою спинкою, а о своем деле – ничего. Виновный мужик только поглядел ему в глаза и поплелся спать под хрептугом. Каганец погасили, и в комнате все стихло, только за досчатою перегородкою два семинариста долго за полночь бубнили вслух: один отчетисто, с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов, вырубал: «Homo improbus aliquando dolenter flagitiorum suorum recordabitur»,¹ а другой заливчато зубрил:

¹ Дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчест-

«По-латини Ното, человек, сие звучит энергично, твердо, но грубо; а по-французски человек *л'ом*— это мягко, гибко и нежно».

Отец Илиодор все это слушал, слушал и задремал, убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным, воркотанием того же семинариста, заучивавшего себе на сон грядущий: *батю бато* – бить палкою; *батю бато* – бить палкою; *батю бато* – бить палкою.

Отец Илиодор заснул и увидел семь коров тучных и семь сухощавых и смутился, что видит сон не по чину.

Весь следующий за сим день отец Илиодор просидел дома у своих семинаристов, а на третий, часов в 8 утра, вдвоем с виновным мужиком они явились в задних сенях городского помещичьего дома.

Крестьянин обтер изнанкою своей полы грязь с сапог отца Илиодора и прислонился к стенке, обрызганной желтой, красной и черной красками; а Илиодор вступил в девичью и, помолясь, проговорил: мир дому сему!

IV

Целая орда сенных девушек, набранных из того же села, где жил отец Илиодор, вскочила и поочередно приняла у него благословение.

Батюшка из своего села на чужбину завезенной девушке не только поп, а и друг, и приятель, и милый гость.

Одна из девиц, более прыткая и догадливая, побежала к экономке и через несколько минут вернулась с подносом, на котором стояла для отца Илиодора чашка жидкого чая и два кренделя с тминной посыпкой. Остальные предстояли перед Илиодором и, сложив крестом руки, изредка пошептывались. Отец Илиодор, сидя на коннике, называл девушек по именам и сообщал каждой из них кое-что о домашних; в коленях у него стояла маленькая девочка, лет восьми, с зеленым лицом и толстым вздутым брюхом, на котором общелкнулось и приподнялось синее набойчатое платье. Обласканная девочка разнежилась и плакала, а священник одною рукою гладил девочку по остриженной клочками желтоватой головенке, а другою на трех пальцах держал чайное блюдце.

– Не плачь, не плачь, Анюта, – говорил он девочке, наливая из чашки на блюдце остатки вынесенного ему в девичью чая, – Бог милостив, увидишься. Теперь господа скоро в деревню приедут. А вы вот что, – обратился он к девушкам, – вы ее пожаливай-те, Творец тогда вас сам да... да пощадит,

пощадит... и того...

– Пожалуйте к барину, – сказал вошедший в эту минуту лакей.

Отец Илиодор быстро поднялся, отодвинул от себя девочку и, выправив наружу из-под рясы крест двенадцатого года, называемый «французский», довольно спокойною поступью отправился в апартамент. Помещик, человек лет за сорок, высокий и осанистый, с длинными розовыми ногтями, принял отца Илиодора в своем кабинете и, не поднимаясь со стула, пригласил его садиться.

– Ну-с, – начал помещик, когда тот уселся на краешке стула. – Я был, говорил об этом глупом деле. Кажется, кое-как можно будет его спустить с рук.

Отец Илиодор привстал, ослабился, лизнул язычком губки и, придерживая свой крест, очень низко поклонился.

– Весьма и наичувствительнейше вашему сиятельству благодарен и не знаю, как могу и выразить достойно мою благодарность.

– Да что тут, батюшка, благодарить. Это мое дело столько же, сколько и ваше. В существе ведь это, ежели здраво посудить, не более как глупость.

– Глупость, ваше сиятельство, и даже не что иное, как глупость.

– Да; а закон вот вам за эту глупость шеи посворачивает.

– Закон, ужасно, ваше сиятельство, ужасно.

– Как же! Разрытие могил.

– Да-с, да, – разрытие... как же...

– Глупы, а их за глупость в генералы не пожалуют, а хочешь – не хочешь, надо их, дураков, пожалеть.

– Да-с, пожалеть, ваше сиятельство, непременно пожалеть.

– Да; хотя это, собственно говоря, ваше дело-то было, – сказал назидательно помещик.

Отец Илиодор смиренно приподнялся, и бровки у него заходили вопросительными знаками.

– Да; ваше дело их учить, вразумлять, отклонять от всякого подобного вздора и суеверий.

– Точно, точно, точно, – повторял за ним, смиренно сжимая на груди руки, священник.

– То-то «точно»; но наши православные пастыри, верно, больше...

– Пастухи, – подсказал отец Илиодор.

– Что?

– Пастухи, говорю. Вы изволите говорить, что не пастыри-то, так я к этому: пастухи, говорю, сельская бедность... в полевом ничтожестве... пастухи...

Помещик любил великодушничать.

– Пастухи! – сказал он, обезоруженный смирением отца Илиодора. – Еще бы, загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него, Фенелона или Бурдалу требовать.

Отец Илиодор только рукою махнул.

– Ну то-то ведь вот и все так у нас: всякий о себе, а до другого дела нет, – этак нельзя. Ткнуть человека, да и действуй! Нет, ты дай мне силу, дай мне снасть, орудие, инструмент дай! Я вас не виню и, выручая мужиков, так сказать, и себя выручаю, а из-за чего? Из эгоизма!

Отец Илиодор только бил в такт головою.

– У немцев, у англичан, им... там... на все... есть инструмент! Пастор – это человек, это член общества, а у нас? Я вас спрашиваю, вы священник, ну, скажите сами, пожалуйста: разве может иметь влияние учитель, стоящий умственно ниже ученика своего?

– Не может, – отвечал отец Илиодор.

– Да разумеется не может-с! Ни под каким видом не может. Вон приехал новый архиерей и занес об эгоизме... Да что ты, любезный мой, понимаешь под эгоизмом? А я тебе говорю, что эгоизм *сила*.

– Верно, верно, ваше сиятельство! Верно!

– Разве приятно, как полсела-то пойдет на каторгу?

– Именно так.

– Ведь вы говорите, что все село участвовало в преступлении?

– Почти все село-с.

– Подлецы! И к самой рабочей поре приладить этакую штуку.

– Теперь отсеялись.

– Га! отсеялись. А другие работы? А сад, а покосы, а жни-

тво? Разве, думаете, это так вот в одну минуту и кончится?

– Нет, я только так, что насчет посевов, а то, разумеется, – проговорил отец Илиодор.

– Что посевы! Не одни посевы. Мужик здесь?

– Здесь.

Помещик дернул за сонетку и велел вошедшему лакею позвать мужика. Отец Илиодор заворочался на стуле.

– Вы, ваше сиятельство...

– Что-с прикажете?

– Я говорю, то есть хочу вам доложить насчет Ефима, насчет вот того мужичка-с, что взойдет...

– Что же такое вы мне хотите сказать?

– Он, знаете, такой... вохловатый, знаете, в деревне все, господ они совсем мало видят и несмелы, ваше сиятельство.

– А! Ну еще бы! Я ведь знаю, как с ними говорить.

Лакей всунул в дверь седого Ефима и поставил его к самой притолке. Мужик не поклонился. Помещик посмотрел на него долгим взглядом, хлебнул чаю, опять посмотрел и затем вдруг заговорил тем ерническим языком, которым ба-ре портят свое слово, поддельваясь к низкому говору, нима-ло не уважаемому самим народом.

– Ну, кого надуть, любезный?

Мужик повалился в ноги.

– Что, мол, нужно? – повторил помещик.

Мужик опять поклонился и прошептал:

– К твоей милости, ваше осиятельство.

– То-то, чего к моему осиятельству пожаловал?

– Да все по этому делу, ваше... – Мужик думал, думал, как назвать барина после того, как тот передразнил его за «осиятельство», и хватил: – Ваше велическое благородие.

– Извольте, пожалуйста, прислушать, чин какой изобрел! Как, как, ты сказал? А! Как? Мужик стоял как пень.

– Говори ж.

– Я, ваше благородие... сиятельское... по своему по делу!

С мужика, пока он вывез эти титулы, даже пот повалил, словно он овин вымолотил.

– По какому делу-то? – Помещик видимо наслаждался своими приемами в объяснении с народом. – По ка-ко-му та-ко-му де-лу?

– Да вот отец Лидор знает, – отвечал мужик, переминаясь с ноги на ногу.

– Я не с отцом Илиодором говорю, а с тобою. Ты ко мне чего пришел?

– Все по этому же самому делу.

Помещика начало подергивать, и он сразу громко крикнул:

– Что?

– По этому же, баю, по самому делу, что отец Лиодор тебе, чай, докладывал.

– Да я, братец, говорил их сиятельству, – вмешался о<тец> Илиодор, испугавшийся, что барин разгневется и дело примет плохой оборот. Помещик в свою очередь также

обрадовался, что можно начать речь, не добиваясь первого слова от завернувшегося в себя крестьянина. Он быстро поднялся с своего места и, подойдя к мужику, впери́л в него свои глаза и с расстановкой спросил:

– Что наделали? А! Сибирь захотелось посмотреть! – и пошел, и пошел. Битый час говорил он, но наконец устал и опустилсЯ в кресла.

Отец Илиодор, рассматривавший во все это время висЯщую на стене картину, обернулся и тоже сел, готовясь в каждую секунду подоспеть с своим ответом.

– Как же это у вас было? – обратился помещик опять к крестьянину.

– Да так вот, как отец Лидор твоей милости, должно, докладывал.

– Да ты сам-то мне расскажи. Я от тебя хочу слышать.

– Все по грехам нашим.

– За какие ж это такие грехи тяжкие вас Господь так попутал?

– Во гресех рождаемся и во гресех живем, – проговорил отец Илиодор, будто сам про себя, как на сцене говорят «в сторону».

Помещик все более и более входил в добрый стих.

– Меня, небось, обманывали? А!

– Говори, говори; барин шутят с тобой; говори, – вмешался отец Илиодор и тут добавил: – Малосмысленные.

Мужик оправился и произнес:

– И твою милость обманывали.

Барин расхохотался, как ребенок, которому пощекотали брюшко.

Отец Илиодор опять поспешил сказать:

– Малосмысленные.

– Да; но заметьте, что всегда у них все на Бога, во всем Бог у них виноват. А? Отчего же тут Бог-то?

Мужик молчал.

Отец Алексей поежился и, снова устремясь на картину, зашептал вполслуха:

Всегда свои кладем на Бога мы вины,
Дурачества свои в судьбину применяем,
Как будто воля нам и разум не даны.
Что худо сделаем, – удобно извиняем.

– Слушай же и понимай! – сказал помещик, обратясь к крестьянину. – Ничего не было. Понимаешь?

Мужик мотнул значительно головой.

– Ни-ни. Во сне ничего этого не видали, не то что наяву. Здесь тысячу рублей я дал своих, а вы знайте, чтоб к Петрову дню они были все назад в сборе. Понял?

Мужик почесался и сказал, что «понял».

– Так все это справите?

– Надо быть, справим.

– Да ты не крути с своим «надо быть», а отвечай прямо: справите или кнут да каторга?

– Справим, справим, ваше королевское еруслание, – залепетал мужик, вспомнивший про свою шкуру, о которой с азартом напоминал на сходке ободранный мужичонко, и про своих сыновей, участвовавших в перенесении пономаря с кладбища в трясину к Бугорному мосту.

– Ну, марш! Будьте покойны и молчок, понимаешь? А к Петрову дню чтобы все было в порядке. А вы, отец Илиодор, наблюдайте, – порешил помещик.

Помещик окончательно расхохотался, встал и сказал:

– Ну, поезжайте с Богом по дворам.

Это было самое отрадное слово.

Отец Илиодор тотчас же вскочил и начал прощаться. Он низко кланялся, придерживая рукою свой темный бронзовый крест, и до самой двери выходил задом с поклонами, которые удобнее можно было называть книксенами, или реверансами. Мужик вперед выскочил, как пробка из детского пистолета, и начал скоро креститься.

V

Через час отца Илиодора с его кучером уже не было в городе. По дороге к селу опять мелькала голубая дуга с желтыми разводами и тележка с расписанным задком, а на тележке сидел грустный Илиодор и как в воду опущенный Ефим. Разговора почти никакого не было между ними во всю дорогу, только Ефим тяжело вздыхал, может быть, о той тысяче, которую надо было готовить, а отец Илиодор о том, что он «пастух», а не пастырь. К утру на другой день они стали подъезжать к селу. Версты за две началась новая чищоба, и тележку стало шибко подбрасывать по кочкам.

– Смотри, – сказал священник. Крестьянин вздрогнул и оглянулся.

– Куда ты смотришь? Ты на дорогу, говорю, смотри.

– А я думал... – Крестьянин набожно перекрестился и снова проговорил: – Я думал...

– Что же ты думал, Ефим?

– Скажи ты, отец, как велик наш грех против Бога?

– Надругательство над мертвым, разумеется, скверно.

– А будет прощено?

– Молитесь Богу, чтоб простил вас.

У старика задрожали губы, он сначала без всякой надобности отчаянно задергал вожжами, а потом поднес рукав к глазам, и послышалось несколько старческих всхлипываний,

которых нельзя было отличить от всхлипываний двухлетнего ребенка.

– Бачка! – начал опять старик, не отнимая рукава от глаз. – А ведь мы не весь грех-то тебе сказали.

Священник обомлел.

– Ефим! – сказал он, придя в себя. – Что ж это вы со мною, скоты вы бесчувственные, делаете! Что же вы еще сделали?

Старик так и зарыдал навзрыд.

– Са... са... – лепечет, а далее рыдания ему мешали говорить, и он наконец едва произнес и то не своим, очень тоненьким голоском: – Мы с него сальца содрали.

– С пономаря?

– Да.

– Ах! дураки. На что ж было вам его сало?

– На свечку.

– На какую свечку?

– Да, тот, чтоб ему пусто было, прохожий-то насказал, – старик отер глаза и начал говорить покойнее, – ссучите, говорит, из мертвого сала свечку да зажгите ее ночью на огороде, без этого, говорит, струмента нельзя. А эта... Не успеет, говорит, свечка догореть, дождь ее и зальет. Мы так и сделали.

– Ну?

– Ну, как он наказывал, наклали сальца в черепок да и зажгли у Тишки на задах.

– Что ж, дождь залил?

– А вот же тебе крест святой, сряду и залил.

«Вот имеете себе тоже инструмент, ваше сиятельство!» – подумал отец Илиодор и даже не стал уверять своего возницу и в том, что это случайность, а завел глаза и начал дремать через силу и думая, что бы на его месте сказал в это время *он*, другой, настоящий пастырь, и что скажет наконец тот, которого днесь учат, что *батю бато* значит бить палкою и что латинское *Ното* энергично, твердо, но грубо, а французское *лом* – мягко, нежно и гибко?

Но изо всего этого пытання ничего не выходит.

Телеман-сорт, «корабль, погибающий в волнах», припоминает отец Илиодор и сейчас же впадает в раздумье: что это, однако, такое *телеман, телеман ... телеман-сорт*, где он слышал это французское слово?.. Ах, какая досада: ни за что не вспомнишь! Семинарист ли это учил, или это он сам знал прежде? Да, это он сам знал: вот оно что! – он видел печать, на которой был вырезан корабль на волнах и над ним надпись, которую он вычитал и перевел себе таким образом: *телеман-сорт* – это «корабль, погибающий в волнах».

Отец Илиодор заснул и, ныряя по кочкам, воображает самого себя кораблем, погибающим в волнах. И как отец Илиодор ни хочет спастись, как он ни старается выбиться, – никак не выбьется: за ноги его сцапал и тянет тяжелый, как тяга земная, мучинко с разорванным воротом, а на макушке сидит давешний королевское еруслание и пихает ему в рот красную пробку.

– Вот это, – говорит королевское еруслание, – инструмент, чтобы ты, идучи ко дну, вслух отходной себе не читал.

Впервые опубликовано – Век, 1862.